

Владимир Короленко

Яшка



Владимир Короленко

Яшка

«Public Domain»

1880

Короленко В. Г.

Яшка / В. Г. Короленко — «Public Domain», 1880

«...Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов «загнали» в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери «одиночек». Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой, грязной стене...»

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

В. Г. Короленко

Яшка

Жестокое, сударь, нравы...
Островский

I

...Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов «загнали» в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери «одинок». Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой, грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями: «За кражу», «За убийство», «За грабеж», «За бродяжничество», а в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянною заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных.

Мы повернули раз и другой. Над первой дверью третьего корпуса я прочел надпись: «Умалишенный», над следующей – то же. Над третьей надписи не было, а над четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой каморки, – из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие, за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, взад и вперед за своею дверью, выкрикивая что-то похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, и из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила: «За убийство».

Это был «коридор подследственного отделения», куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных, только справа от одной из них отделялась лестницей, над которой висела доска: «Вход в малый верх».

Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону – третий умалишенный – не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле.

– Яшка-то молчит ноне, – тихо сказал «старший надзиратель» младшему.

– Не видит... Ну его! – ответил тот так же тихо.

Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногою в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. «Старший» – седой, низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей, – весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.

– Полно, Яшка, что задурил-то? – отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик, с длинными опущенными вниз усами, в большой папаше. – Чего не видал? Видишь, арестантов привели!

Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И, как бы убедившись, несмотря на наши «вольные» костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своею дверью. Слов мы не могли расслышать – «одиночка» уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь «подследственного отделения» вошла опять в свою обычную колею.

Пять шагов в длину, три с половиной в ширину – вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, и в него видна, на расстоянии двух сажен, серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурною каймой многолетней пыли, стены серы, и, при внимательном взгляде, видны на них особые пятна – следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами, – борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь... Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь «одиночки», которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось...

За стеной слышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, заморенная клячонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая «кеньгами» по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и так же вяло принялись за работу... Отвратительную вонюю пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру...

Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату.

– Од-на-ко! – сказал он протяжно.

– Д-да! – подтвердил я.

Больше говорить не хотелось, да и не было надобности, – мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканые паутиной, крепко запертая дверь... В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь: неделю, две?... Нехорошо, скверно! А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может, и годы...

А арестантики продолжали работу – это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда со своим неблаговоным ящиком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая, – все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон.

Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы притерпелись, но только тоскливое чувство, внушенное нашей беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острого стало переходить в тупое, хроническое... Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери.

Внешняя жизнь для нас была жизнь двора и коридора тюрьмы. В дверное оконце, когда его забывали закрыть наружною заслонкой, виднелись гуляющие арестанты. Они «толкались» по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности.

В известные часы по двору проносилась команда: «Пошел за кипятком!», «Пошел за хлебом!», «Обедать пошел!», «По-шо-ол, расходись по камерам!» Выпускали на время подследственных из строгого одиночного заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору: цепи уже, несомненно, налагали это обязательство. Под вечер где-то на третьем дворе раздавался звонок: приближалась «поверка». Ежедневно в семь часов смотритель или его помощник обходили с караульным офицером и конвоем солдат все камеры, считая заключенных.

Так проходил день в «подследственном отделении».

...Раз, два, три, четыре... – гулко раздавался по временам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной, подавленной жизни, его удары, резкие, бешено-отчетливые, непокорные, составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький «старший» съежился, заслышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорбной обители, казавшееся даже мне, постороннему, диссонансом, должно было особенно резать ухо «начальства».

Не знаю, зачем, собственно, понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три... около шести стук усиливался; семь, восемь, девять... – стоял сплошной гул, затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в правой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов, и затем в коридоре наступала напряженная тишь, или же угрюмое ворчание Якова смешивалось со скорбными выкрикиваниями еврея.

Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику надзирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным мирозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, никогда не возвышал голоса, не бранил арестантов, не стеснял их без нужды. Он был надзиратель, – это было его общественное положение, налагавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты, – это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности, что значит: «веди себя с толком, поступай благородно, то есть не попадай на замечание начальства». Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь подведомственного ему «отделения». Главное нравственное правило: «не попадай на замечание» – проникало во все детали этой жизни. Сам старик Михеич двигался и действовал, не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видел, чтоб он препирался с арестантом из одиночки, когда тот просился «до ветру», как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит, у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, при чем из-под его папахи, вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы длинных усов и ястребиного носа, тихо и благосклонно «клевавшего» в спокойной дремоте, в коридоре подследственных воцарялась непринужденность и даже некоторая развязность, конечно, в возможных для этого места пределах. Арестанты франтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника, с очевидным знанием невозможности явиться в «эдаком виде» в другие часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в «эдаком виде» кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ротодействе не заключается ни «толку», ни «благородства». Даже умалишенные чувствовали импонирующее влияние Михеичевой философии. Когда рулады сумасшедшего еврея, одержимого какою-то музы-

кальной манией, достигали чрезмерной напряженности и экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея и, стукнув связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом:

– Эй, ты, свиное ухо! По какой причине раскричался? Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо «причины», и даже название «свиное ухо» казалось просто необходимым собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тон и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу.

– Нарукавники желаешь? – спрашивал Михеич так же спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания.

– Покричи еще, – что ж, я и принесу нарукавники тебе... Это, брат, можно во всякое время... – соглашался Михеич, и рулады еврея спускались до обычного диапазона.

– Стекло-то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь вот, вчера вставили, а ты опять слопал, свиное ухо! – говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей, действительно, имел обыкновение разбивать и грызть зубами.

Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина его скоро прилипала к натертому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов.

Другой умалишенный, остяк Тимошка, помещавшийся в первой камере у входа в коридор подследственных, пользовался некоторым благорасположением Михеича. Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки.

– Тимошка тут, Тимофей, остяк... Набожный... Всякую молитву знает. Поди, и теперь молится...

Я заглянул в оконце. Длинная узкая камера была еще мрачнее нашей, так как угловая стена примыкавшего здания закрывала в нее доступ свету. Вначале я не мог никого разглядеть среди этих темных стен, но вскоре увидел в углу, под самым окном, какую-то колено-преклоненную фигуру. Тимошка мерно покачивался, стоя на коленях перед какими-то болванчиками, неопределенно черневшими в углу. На окне лежало что-то вроде шапки. Мебели, как и в других одиночках, не было, только рядом с болванчиками стояла «парашка». Остяк молился ровным, своеобразно-диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно, остяцком языке, а иногда, нисколько не изменяя молитвенной интонации, произносил скверные ругательства, как будто и они составляли часть его культа.

– Трех человек задушил руками, – отрекомендовал мне его Михеич. – Из себя невидный, а сила в нем ба-а-аль-шая!

– А что это в углу у него расставлено? – спросил я.

– Идолы это... Бога... Ка-ак же! Сам делает. Сколько раз отымали, сейчас опять смастерит.

– Чем же?

– На выдумки ловок, беда! Нож из жести оконной у него, об камень выточен. А шапку видели... на окне у него лежит? Тоже сам сшил. Окно-то у него разбито, чорт ему кошку шальную и занеси. Он ее сцапал, содрал шкуру зубами, – вот и шапка! Иголка тоже у него имеется, нитки из тюфяка дергает... Ну, зато набожен: молитвы получше иного попа знает. Бога у него свои, а молитвы наши... Молится, да!.. И послушен тоже... Тимошка, спой песенку! Тимошка прервал молитву, взял в руки палку и повернулся к Михеичу.

– С барабаном? – спросил он.

В его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден.

– Неуж без барабана, чудак! – ответил Михеич. Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне, с довольно быстрым темпом, слышалось что-то своеобразное, заунывно-дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но он не давался нашей памяти.

– Без конца у него песня эта, – заметил Михеич. – Теперь все будет петь, пока не скажу: довольно! Раз этак я забыл остановить его – он и поет себе. Проверка пришла, смотритель и спрашивает: «Ты что делаешь?» – «Песню, говорит, Михеич приказал петь». Право, послушный он!.. А тре-ех человек задавил руками. Ноги ему в сумасшедшем доме отшибли – ходить не может. Зачинает мало-мало подыматься, да плохо. Видно, отстукали ловко!

– Неужто в больнице у вас ноги отшибают? Ведь это...

– Да уж это не так, чтобы превосходно, что и говорить. Опять же и зря: послушный он, остяк-то. Ему толком скажи – он слушает. Только там это у них живо, в сумасшедшем-то доме: чуть что, пожалуй, не долго им, и совсем устукают. Этому стукальщику скоро вот то же будет, – как-то недружелюбно мотнул Михеич головой в сторону Яшкиной двери.

В его голосе исчезли мягкие, благосклонные ноты, с какими он обращался к послушному Тимошке, давившему людей руками и сдиравшему шкуры с живых кошек. Очевидно, в глазах Михеича Яшка был хуже остяка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.